



ПОНЯТИЯ, ИДЕИ, КОНСТРУКЦИИ

ОЧЕРКИ
СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
СЕМАНТИКИ



Интеллектуальная история

Коллектив авторов

Понятия, идеи, конструкции

«НЛО»

2019

УДК 81.37-112
ББК 81.04

Коллектив авторов

Понятия, идеи, конструкции / Коллектив авторов — «НЛО»,
2019 — (Интеллектуальная история)

ISBN 978-5-4448-1309-6

Историческая семантика изучает формы осмысления действительности в языке, культуре и обществе и их изменение во времени. Вклад в эту дисциплину внесли история слов, история понятий, история идей, историческая антропология, а также политическая философия и социология. Сближение между этими интеллектуальными традициями – одна из задач, которые ставят перед собой авторы сборника. Наряду с классическими, ранее не издававшимися на русском языке работами Антуана Мейе («Как слова меняют значение») и Томаса Коула («Архаическая истина»), сборник содержит критический обзор современных подходов к изучению истории слов и понятий, а также новейшие исследования по исторической семантике XVII–XX веков. В числе представлений и конструкций, которые анализируются в книге: истина до рождения философии, добродетель и антропология мужества, политика «в тени кабинетов» во Франции Старого режима, простые и сложные понятия в эпоху Просвещения, покой и свобода как функции нововременного сознания и т. д.

УДК 81.37-112

ББК 81.04

ISBN 978-5-4448-1309-6

© Коллектив авторов, 2019

© НЛО, 2019

Содержание

Часть I	7
Между Фреге и Фуко: методологические ориентиры исторической семантики	7
Как слова меняют значение (1906)[20]	23
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Понятия, идеи, конструкции. Очерки сравнительной исторической семантики

© Ю. Кагарлицкий, Д. Калугин, Б. Маслов, составление, 2019,

© Авторы, 2019,

© ООО «Новое литературное обозрение», 2019

Часть I

Теоретические предпосылки

Между Фреге и Фуко: методологические ориентиры исторической семантики

Юрий Кагарлицкий, Борис Маслов

От Гумбольдта к Виноградову: лингвистический аспект

Место исторической семантики в кругу историко-филологических дисциплин, в которых изучение истории неразрывно связано с реконструкцией идейного содержания слов, текстов, дискурсов и интеллектуальных построений, остается непроясненным как с теоретической точки зрения, так и на практике. Как наука, изучающая бытование смыслов в истории, она лишена четкого дисциплинарного и институционального самоопределения, и в разных исследовательских традициях к ней примыкают (либо ее замещают) такие области знания, как интеллектуальная история, история идей, история понятий, история слов, история эмоций, диахроническая семантика, история науки и история литературы. Многообразные интеллектуальные ориентиры исторической семантики заставляют исследователя непрестанно пересекать границу между гуманитарными и социальными науками, обращаясь то к лингвистике, истории культуры и философской герменевтике, то к политической теории, социологии и социальной истории.

Гетерогенны и предмет, и методы исторической семантики, гетерогенны и мотивы обращения к ней исследователя. Для лингвиста, изучающего язык как материю со своими законами, историческая семантика, в соответствии со значением слов, составляющих ее название, изучает закономерности в историческом изменении значений слов или тех или иных лексических классов; новейшие исследования по диахронической семантике выдвигают на первый план эволюцию значений грамматических показателей¹, в целом оставляя в стороне такие проблемы, как появление новых слов для обозначения новых представлений и выход из обращения тех слов, которые соответствуют отжившим представлениям. Тем не менее, даже если определить историческую семантику как раздел науки о языке, она практически сразу сталкивается с важной и в какой-то мере ключевой проблемой: как соотносятся язык и реальность? На заре языкознания В. фон Гумбольдт, как известно, утверждал, что язык и есть мышление, творчество:

Язык следует рассматривать *не как мертвый продукт* (Erzeugtes), но как *созидающий процесс* (Erzeugung). При этом надо абстрагироваться от того, что он функционирует для обозначения предметов и как средство общения, и вместе с тем с большим вниманием отнестись к его тесной связи с внутренней духовной деятельностью и к факту взаимовлияния этих двух явлений... Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia). Его истинное определение может быть поэтому только генетическим. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы

¹ Диахроническая семантика, таким образом, смыкается с изучением процессов грамматикализации (полезный обзор можно найти в работе: [Deo 2015]); пример влиятельного исследования эволюции семантики диминутивов: [Jurafsky 1996]. См. также сборник статей по исторической семантике английского языка: [Allan, Robinson 2012].

сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли [Гумбольдт 1984: 69–70]².

Эти широко известные декларации едва ли определили магистральное направление развития науки, тем более что философские построения Гумбольдта сегодня нас устроить никак не могут. Тем не менее, когда речь идет об исторической семантике, приходится снова возвращаться к вопросу – в какой мере язык лишь отражает реальность, а в какой он ее формирует и создает? В 1945 году В. В. Виноградов, намечая пути историко-лексикологических исследований, ссылаясь на Гумбольдта и говорил:

Слова, идеи и вещи должны изучаться как аналогические и взаимодействующие ряды явлений. Но соотношение между ними – сложное. В истории материальной культуры функции и связи вещей меняются в зависимости от контекста культуры, от ее стиля. Формы мировоззрений также эволюционируют, и едва ли воспроизведение идеологических систем прошлого возможно без помощи лингвистического анализа... Но тут получается своеобразный заколдованный круг. Открытие закономерностей в исторических изменениях форм и типов мышления невозможно без изучения истории языка, и между прочим, истории слов и их значений. История же языка, в свою очередь, как научная дисциплина немыслима без общей базы истории материальной и духовной культуры и прежде всего без знания истории общественной мысли. В настоящее время частые провалы и блуждания на этом пути неизбежны. Достаточно сослаться на отсутствие разработанной семантической истории таких слов, как *личность, действительность, правда, право, человек, душа, общество, значение, смысл, жизнь, чувство, мысль, причина* [Виноградов 1995: 6–7].

Мы позволили себе такую пространную цитату, потому что в ней нашло отражение понимание Виноградовым, тонким лингвистом, сложного, обоюдостороннего взаимодействия между языком и внеязыковой реальностью.

Едва ли можно сказать, что виноградовская программа исторической лексикологии стала руководством к действию для российских лингвистов последующих поколений³. Отчасти близкий Гумбольдту взгляд на соотношение языка и мысли, языка и культуры реализовался скорее в многочисленных исследованиях концептов, концептосферы, языковой картины мира и когнитивных констант, приписываемых к той или иной культуре и, как утверждается с большей или меньшей категоричностью, ее определяющих⁴. К общей оценке этого направления как своего рода симптома определенного типа исторического воображения мы вернемся ниже; в целом же надо заметить, что некритическое принятие мысли о языковой детерминированности культуры в сочетании с произвольным подбором материала создает предпосылки для появления легковесных и не слишком содержательных работ. Причину этого можно усмотреть в

² Man muss die Sprache nicht sowohl wie ein todes *Erzeugtes*, sondern weit mehr wie eine *Erzeugung* ansehen, mehr von demjenigen abstrahiren, was sie als Bezeichnung der Gegenstände und Vermittelung des Verständnisses wirkt, und da gegen sorgfältiger auf ihren mit der inneren Geistesthätigkeit eng verwebten Ursprung und ihren gegenseitigen Einfluss darauf zurückgehen... Sie selbst ist kein Werk (*Ergon*), sondern eine Thätigkeit (*Energieia*). Ihre wahre Definition kann daher nur eine genetische sein. Sie ist nämlich die sich ewig wiederholende *Arbeit des Geistes*, den *articulirten Laut* zum Ausdruck des *Gedanken* fähig zu machen [Humboldt 1836: 39, 41]. Пер. В. В. Бибихина цит. по: [Гумбольдт 1984: 69–70].

³ Совсем недавно интересный опыт разработки методологии истории понятий как лингвистической дисциплины, изучающей семантические изменения как разновидность языковых изменений вообще, но и учитывающей идеи Р. Козеллека (не в последнюю очередь его концепцию темпорализации понятий), был представлен в диссертации Г. В. Дуриновой [Дуринова 2015].

⁴ Значительное влияние на это направление, получившее нелестное наименование «концептология», оказала книга [Степанов 1997]. Лингвисты, занимающиеся сравнительным изучением «ключевых слов» как фактов языковой картины мира, ориентируются на работы А. Вежицкой (ср., например: [Вежицкая 2001]).

непродуманности философских оснований этого подхода: если культура определяется языком, чем же тогда определяется различие между языковыми картинами мира? Гумбольдт полагал, что в основе лежит «дух народа», но сегодня нас подобный романтический идеализм устроить, конечно, не может. Да и вообще трудно поверить в самодовлеющую силу языка; речь скорее следует вести о двунаправленном взаимодействии: язык несомненно играет роль в структурировании мышления и восприятия, но и мышление и восприятие явно воздействуют на язык, заставляя его приспосабливаться к своим нуждам и запросам⁵.

Например, в основных европейских языках слово, обозначающее аппарат политически организованной публичной власти в стране, а также страну в целом с подобным аппаратом, восходит к лат. *status* 'состояние, положение' (*state, état, Staat, stato, estado*), а в русском языке общепринятый коррелят образован первоначально от наименования носителя власти: *государство* < *государь*. Означает ли это, что склонность носителей русского языка к авторитарным и централизованным формам власти запрограммирована многовековым развитием языка? К такой логике иной раз склоняются исследователи, между тем, как мы увидим в следующем разделе, внимательный анализ, предпринятый историками понятий, подводит к совсем другим заключениям. Наивный этимологизм оказывается несостоятельным и по причинам более общего порядка. Во-первых, неясно, как понимать такого рода суждение о власти языка над сознанием – как утверждение, что политическая судьба страны определяется случайностями языковой мотивации или что, напротив, за этими случайностями стоит некая провиденциальная сила, наподобие «духа языка» или «духа народа»? В любом случае вывод не будет слишком содержательным. Во-вторых, язык, как мы знаем, располагает не только наличным словарем, но и возможностями выработки новых терминов. Отсутствие политической философии, связанных с ней аффективных и поведенческих установок, относительно более позднее появление определенных публицистических жанров и культурных институтов сыграли, очевидно, гораздо более серьезную роль в истории российской государственности, чем никем не доказанное воздействие внутренней формы одного из терминов.

В этом смысле исследовательская программа, намеченная когда-то В. В. Виноградовым, кажется гораздо более сбалансированной. Ученый подчеркивал взаимозависимость языка, мышления и реальности: язык воздействует на мышление, на восприятие реальности, но и то, что происходит в реальной жизни и воспринимается человеком, воздействует на язык. Трудности выстраивания и отстаивания самостоятельной теоретической концепции в современной Виноградову интеллектуальной среде, несомненно, были главным препятствием реализации этой программы; тем не менее ученый продолжал заниматься историей отдельных слов, и его заметки, ныне собранные в одном томе [Виноградов 1999], содержат богатейший эмпирический материал. К задаче обоснования исторической семантики как области гуманитарного знания российская наука вернулась лишь в начале 2000-х годов, и это было ответом на вызовы иного научного направления – немецкой истории понятий.

Козеллек и Скиннер: исторический аспект

Историку *propter dictum* история понятий служит исследовательским инструментарием, позволяющим подобраться к тем аспектам исторических явлений, которые в противном случае ускользают от взгляда. Двумя наиболее впечатляющими проектами такого рода являются, безусловно, *Begriffsgeschichte*, главным теоретиком которой был Райнхарт Козеллек, и кембриджская школа *history of concepts*, представленная Квентином Скиннером, Джоном Пококком и Джоном Данном. Хотя эти подходы сближают интерес к политическим понятиям, следует

⁵ О формах влияния языка и языковых категорий на мышление мы знаем теперь гораздо больше благодаря этнолингвистическим исследованиям, вдохновленным гипотезой «языковой относительности» Б. Л. Уорфа (ценные обзорные работы: [Leavitt 2010; Evans 2009: 161–181]; из новейших работ: [Silverstein 2004]).

сразу же подчеркнуть принципиальное различие между ними. Если Козеллек уделял немалое внимание теории истории понятий и стремился проблематизировать язык как среду смысловых трансформаций, кембриджская школа в целом остается в пределах традиционной интеллектуальной истории. Перед ней не стоит задача исследовать язык как таковой, и мотивы для изучения истории понятий возникают у ее представителей в контексте решения свойственной ей, сугубо исторической задачи. По этой причине обращение ученых «кембриджской школы» к истории политического языка не ведет к выявлению диалектики языковых и внеязыковых процессов. История становления политического языка и политических институтов воспринимается как внеположенная по отношению к истории языка и зачастую даже к истории как таковой.

Разумеется, историк совершенно иначе, чем лингвист, использует сам термин *понятие*. Для лингвиста понятие – одна из вершин треугольника Фреге, при том что две другие – это «слово» и «вещь». Утрата одной из вершин заставляет сомневаться в полноценности двух других. Готлоб Фреге писал в одной из своих основополагающих работ:

Известно, что в логике недопустима неоднозначность выражений, ибо она является источником логических ошибок. Я полагаю, что не менее опасны ничего не обозначающие псевдоимена. История математики знает много заблуждений, возникших из-за псевдоимен. Псевдоимена, по-видимому, даже в большей степени, чем неоднозначные выражения, способствуют демагогическому злоупотреблению языком. Таково, к примеру, выражение *воля народа*, которое очевидным образом не имеет (во всяком случае, общепринятого) денотата⁶.

Именно к таким «демагогическим», с точки зрения строгого логика, словоупотреблениям историк, обращающийся к понятиям, питает особый интерес. Именно понятие без общепринятого денотата обладает мощным творческим зарядом и в той же мере создает реальность, в которой следует за ней. Неудивительно, что высказывание Фреге получило своеобразный ответ от ключевого теоретика немецкой школы *Begriffsgeschichte*, Райнхарта Козеллека:

Различие между словом и понятием проводится в словаре⁷ прагматически. Это значит, что мы отказываемся от использования лингвистического треугольника «слово (наименование) – значение (понятие) – предмет» в его различных вариантах. С другой стороны, с позиций исторической эмпирики можно утверждать, что большинство слов общественно-политической терминологии по своим дефинициям отличаются от таких слов, которые мы называем здесь «понятиями» – основными историческими понятиями. Переход от одних к другим может быть и плавным, так как и слова, и понятия всегда многозначны, это их историческое качество, но они многозначны по-разному. Значение слова всегда указывает на означаемое, будь то мысль или вещь. При этом, хотя значение присуще слову, оно подпитывается также из мысленно намеченного содержания, из устного или письменного контекста, из общественной ситуации. Слово может становиться однозначным, так как оно многозначно. Понятие же, напротив,

⁶ Man warnt in den Logiken vor der Vieldeutigkeit der Ausdrücke als einer Quelle von logischen Fehlern. Für mindestens ebenso angebracht halte ich die Warnung vor scheinbaren Eigennamen, die keine Bedeutung haben. Die Geschichte der Mathematik weiß von Irrtümern zu erzählen, die daraus entstanden sind. Der demagogische Mißbrauch liegt hierbei ebenso nahe, vielleicht näher als bei vieldeutigen Wörtern. «Der Wille des Volkes» kann als Beispiel dazu dienen; denn daß es wenigstens keine allgemein angenommene Bedeutung dieses Ausdrucks gibt, wird leicht festzustellen sein [Frege 1892: 41]. Пер. Е. Э. Разлоговой цит. по: [Фреге 1977: 199–200].

⁷ Речь идет о фундаментальном издании словаря «исторических базовых понятий» (*Geschichtliche Grundbegriffe*), вышедшем в течение четверти века [Bruner, Conze, Koselleck 2004].

должно оставаться многозначным, чтобы оно могло быть понятием. Понятие привязано к слову, но вместе с тем оно больше чем слово. Слово – в нашем методе – становится понятием, если в него целиком вмещается вся полнота общественно-политического контекста значений, в котором – и для которого – употребляется это слово⁸.

Историки, обращаясь к истории понятий, отстраиваются от предшествующих изводов интеллектуальной истории, в частности от истории идей, в которой содержание существует отдельно от языковой формы, а история сводится к эволюции содержания⁹. Однако при этом они отстраиваются и от лингвистического понимания языка, которое также, со своей стороны, основано на разделении формы и содержания. Понятие же (как предмет исторической семантики) противостоит, с одной стороны, слову, лексеме как языковой единице, с другой – идее, абстрагированной от языкового воплощения. Оно видится исследователем в единстве слова и значения и обязательно в исторической динамике. Невозможно сказать, каков правильный смысл того или иного понятия, поскольку это понятие всегда является объектом спора, тяжбы, уточнения, соотнесения с тем или иным образом будущего. Внимание Квентина Скиннера, яркого представителя кембриджской школы, также часто сосредоточено на полемике о понятиях, то есть, в сущности, о значении слов. Так, в своей классической работе о зарождении понятия государства в западноевропейских языках Скиннер показывает, что значение «государство» впервые появляется у слов *stato*, *état*, *staat*, *state* в текстах, обращенных к правителям («зерцалах принцев»), поскольку в них речь идет о том, как сохранить «статус правителя» (*status principis*, *stato del principe*), в том числе – удержать принадлежащие правителю территории:

...как всегда подчеркивается авторами книг наставлений, наиболее важным условием удержания своего состояния как правителя должно быть сохранение контроля над существующей структурой власти и над институтами правления в его *regnum* или *civitas*. Это, в свою очередь, дало толчок важнейшей лингвистической инновации, которая берет свое начало в итальянских хрониках и политических сочинениях эпохи Возрождения. Происходило это через расширение смысла *stato*; он выражал уже не только идею господствующего режима, но и конкретно указывал на институты правления и средства принуждения, служившие для организации и поддержания порядка в политических сообществах¹⁰.

⁸ Die Unterscheidung zwischen Wort und Begriff ist im vorliegenden Lexikon pragmatisch getroffen worden. Es wird also darauf verzichtet, das sprachwissenschaftliche Dreieck von Wortkörper (Bezeichnung) – Bedeutung (Begriff) – Sache in seinen verschiedenen Varianten für unsere Untersuchung zu verwenden. Gleichwohl läßt sich von der historischen Empirie her sagen, daß sich die meisten Wörter der gesellschaftlich-politischen Terminologie definitorisch von solchen Wörtern unterscheiden lassen, die wir hier «Begriffe», geschichtliche Grundbegriffe nennen. Der Übergang mag gleitend sein, denn beide, Worte und Begriffe, sind immer mehrdeutig, was ihre geschichtliche Qualität ausmacht, aber sie sind es auf verschiedene Weise. Die Bedeutung eines Wortes verweist immer auf das Bedeutete, sei es ein Gedanke, sei es ein Sache. Dabei haftet die Bedeutung zwar am Wort, aber sie speist sich ebenso aus dem gedanklich intendierten Inhalt, aus dem gesprochenen oder geschriebenen Kontext, aus gesellschaftlichen Situation. Ein Wort kan eindeutig werden, weil es mehrdeutig ist. Ein Begriff dagegen muß vieldeutig bleiben, um Begriff sein zu können. Der Begriff haftet zwar am Wort, ist aber zugleich mehr als das Wort. Ein Wort wird – in unserer Methode – zum Begriff, wenn die Fülle eines politisch-sozialen Bedeutungszusammenhanges, in dem – und für den – ein Wort gebraucht wird, insgesamt in das eine Wort eingeht [Koselleck 2004: XXII]. Пер. К. А. Левинсона цит. по: [Козеллек 2014: 37].

⁹ Современная история идей (history of ideas) сложилась под влиянием работ Артура Лавджоя (Arthur Lovejoy), прежде всего его книги «The Great Chain of Being» (1936; рус. пер. см.: [Лавджой 2001]).

¹⁰ As the writers of advice-books always emphasized, however, by far the most important precondition of maintaining one's state as a prince must be to keep one's hold over the existing power structure and institutions of government within one's *regnum* or *civitas*. This in turn gave rise to the most important linguistic innovation that can be traced to the chronicles and political writings of Renaissance Italy. This took the form of an extension of the term *stato* not merely to denote the idea of a prevailing regime, but also, and more specifically, to refer to the institutions of government and means of coercive control that serve to organize and preserve order within

Более существенным моментом в истории зарождения современного понятия государства как независимого от правителя аппарата, однако, Скиннер считает республиканскую идею «общего блага», по сути приравнивающую новое («варварское») понятие *stato* к латинской *res publica*¹¹. С другой стороны, в четком разделении власти граждан и формы власти, заложенной в самом государстве, были заинтересованы как раз противники республиканской традиции, такие как Гоббс и Боден [Скиннер 2002: 55–56]; поэтому именно Гоббс становится первым осознанным «теоретиком феномена под названием *state*» [Там же: 58]. В России, как показывает Олег Хархордин [Хархордин 2002], отчасти следуя за Скиннером, принцип безличной власти государства насаждается сверху, заодно с идеей общего блага, в целях дисциплинирования населения; схожие процессы Хархордин выявляет и в Западной Европе, что в определенной степени показывает наивность приложения республиканской идеологии к политическим реалиям Нового времени.

Для историков понятий, работающих в традиции кембриджской школы, словоупотребление оказывается важнейшим свидетельством изменений в политическом сознании. Однако слова всегда отражают эволюцию идей: утверждающийся узус стирает унаследованную, заложенную в этимологии семантику, служа тем идеям, которые взяли верх, стали общепринятыми понятиями. В известном смысле история понятий оказывается историей борьбы идей с не всегда послушными им словами. Подход Козеллека, напротив, не мыслит идей вне понятий, а последние подчиняет особой, продиктованной историей логике, которая находит выражение среди прочего в их лексической форме.

Шпитцер и Живов: филологический аспект

В то время как *Begriffsgeschichte* и кембриджская школа интеллектуальной истории нацелены на изучение социальных и политических понятий, очерченные в первом разделе статьи методологические ориентиры, очевидно, требуют более широкой постановки проблемы. Историческим изменениям подвержены и значения, бытующие в других сферах культурно опосредованной деятельности, таких как области этического, эстетического и область научного знания. Всюду, где происходит становление новых культурных форм, можно ожидать применимости того научного аппарата, в разработку которого внесли свой вклад и упомянутые школы. Зонами наиболее интенсивного смыслообразования нередко оказываются регистры и языковые практики, которые декларативно чуждаются понятиям, вращающихся в публичной сфере. Отчасти в связи с почти исключительным вниманием традиционной истории понятий к социополитической сфере нам и кажется уместным обозначить общий метод изучения значений, меняющихся в истории, более емким термином «историческая семантика»¹².

В современном употреблении термин «историческая семантика» характеризуется уже упоминавшейся дисциплинарной многозначностью. В значении, наиболее близком Виноградову и восходящем к французской *histoire des mots*, – это история тех или иных слов, рассматриваемая с учетом истории общественных отношений и истории культуры. Современная мировая лингвистика, как уже упоминалось, понимает историческую (диахроническую) семантику как науку об изменении значений грамматических показателей и категорий, не только и не столько слов. Со своей стороны, историки, близкие к школе *Begriffsgeschichte*, нередко используют этот термин как синоним истории понятий. Все эти грани исторической семантики

political communities [Skinner 1989: 101]. Пер. Дмитрия Федотенко цит. по: [Скиннер 2002: 28–29].

¹¹ В работах Скиннера, посвященных спорам вокруг понятия свободы, интересы политического теоретика как будто берут верх над установками историка, и сам ученый встает на позицию «республиканского» определения свободы; см.: [Skinner 1998; Skinner 2008].

¹² Кроме того, такая замена кажется разумной, поскольку смысловые зазоры могут возникать не только на лексическом уровне языка. Хотя лексика остается наиболее продуктивной и технически удобной областью для изучения, кажется важным обратить внимание на фразовые и сверхфразовые конструкции.

актуальны для авторов статей, включенных в этот сборник, однако основной вес в предлагаемом нами методологическом синтезе приходится на продолжение уже начатого российскими учеными диалога с немецкой *Historische Semantik*, основы которой были заложены в работах Козеллека.

Наиболее важные реплики в этом диалоге – вышедшие в 2009 и 2012 годах по инициативе В. М. Живова и с его деятельным участием сборники («Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени» [Живов 2009а] и «Эволюция понятий в свете истории русской культуры» [Живов, Кагарлицкий 2012]) и двухтомник «„Понятия о России“: к исторической семантике имперского периода», изданный по материалам конференции, которая состоялась в Германском историческом институте в Москве [Миллер, Сдвижков, Ширле 2012]¹³. Именно в первых двух упомянутых изданиях определились те методологические акценты, которые остаются в силе и для авторов настоящего сборника. Это преимущественное внимание к этическим понятиям, рассматриваемым в свете истории культуры (а не к политическим и социальным понятиям); обращение к литературным текстам, наряду с другими типами языкового узуса; учет этимологии, предыстории («внутренней формы») и поэтических возможностей слова как ресурсов, которые могут служить обновлению его значения; анализ маргинальных и забытых слов и понятий, которые не могут претендовать на статус ключевых¹⁴; сравнительный подход, основанный на сопоставлении материала русского, европейских и древних языков.

В теоретической статье, написанной как введение к «Очеркам исторической семантики русского языка», Живов предлагает выстраивать лингво-историко-культурную альтернативу социополитической истории понятий на основании исследовательской традиции, восходящей к Виноградову [Живов 2009б]. Общность интересов между «историей слов» Виноградова и «историей понятий» Козеллека действительно налицо: данные языка (те предпочтения, которые оказываются тем или иным словам или типам слов) позволяют выявить специфический исторический опыт его носителей. Если для Виноградова история каждого слова заключала в себе ключ к социальному бытию и самосознанию тех, кто употреблял это слово с той или иной «окраской», то Козеллек сосредоточил внимание на появлении новых типов словоупотребления (коллективные «сингулярисы», темпоральные понятия, лексика, относящаяся к классовому и сословному самоопределению); в трансформации языкового узуса он искал симптомы модерности, то есть характерного для Европы XIX и XX веков опыта переживания времени [Koselleck 1979: 54; Koselleck 2006: 306–308]. Своего рода компромисс между лексикоцентричным подходом Виноградова и ориентированным на понятийные структуры методом Козеллека можно найти в исторической семантике Лео Шпитцера, который, полагая фундаментальные смысловые структуры неизменными, обнаруживал рефлексии исторического опыта в разнообразных лексикализациях этих структур, меняющихся во времени в зависимости от интенций языковых агентов¹⁵.

Работы Лео Шпитцера позволяют прояснить различие между общими понятиями-идеями и конкретно-историческими преломлениями этих понятий, находящими отражение в

¹³ Для рецепции *Begriffsgeschichte* в исторической науке в России важен сборник [Копосов 2006]. Ср. также немецкое издание, в котором идеи *Begriffsgeschichte* впервые прямо прилагаются к материалу истории русской культуры: [Thiergen 2006]; о методологических недостатках этого издания ср. [Живов 2009б].

¹⁴ В этом отношении (ср. работы Живова о «забобонах» и «заспанных младенцах» в [Живов 2012]) можно говорить о влиянии нового историзма с его интересом к историко-культурному «сору». Понятия, которые не кажутся значимыми стороннему (исторически удаленному) наблюдателю, могут пролить свет и на эволюцию политического воображаемого (ср.: «бодрый народ» [Бобрик, Калугин 2016], «покой», «гордое доверие» [Маслов 2016: 362–364]). В известном смысле данный подход представляет собой филологическое дополнение к характерному для историков (и теоретиков) политического языка акценту на «ключевых словах» («keywords»), то есть лексикализованных понятиях, очевидно и красноречиво свидетельствующих о той или иной исторической эпохе либо культурной формации (ср.: [Williams 1985]).

¹⁵ Важнейшие работы Шпитцера по исторической семантике собраны в книге: [Spitzer 1968].

языке. Так, его классическое исследование истории представлений об окружающей среде содержит множество примеров того, как одна идея множится и дробится в языке [Spitzer 1942]. Идею окружающей среды, восходящую к латинскому *medium ambiens*, а затем к греческому τὸ περιέχον, можно проследить в истории всей античной и западноевропейской культуры, однако выражалась она разными словами, которые передавали различные, иногда полемически противопоставленные смыслы. Так, представление о детерминирующих человека социальных условиях (*milieu*), сложившееся во второй половине XIX века, генеалогически совпадает, но семантически антитетично возникшему в то же время представлению об облакающей человека благотворной ауре, выражаемому фр. *ambiance* (англ. *ambiance*).

Согласно Шпитцеру, исторически конкретные смыслы закрепляются благодаря меняющейся форме слова. Например, английское *mentality*, которое было заимствовано во французский и немецкий, а затем и в русский, это не просто синоним слова *mind* 'разум'; эти слова выражают определенное понимание умственной деятельности человека как чего-то принципиально неиндивидуального и, пользуясь формулировкой Шпитцера, нетворческого; *ментальность* – это продукт внешних влияний – среды, трактуемой как *milieu*, а не как *ambiance*. В других случаях новые смысловые нюансы не закрепляются в языке лексически, что приводит к тому, что одно и то же слово употребляется современниками с противоположными интенциями. Шпитцера, подобно Козеллеку и Скиннеру, занимают ситуации несогласия и спора о значении слов, однако подходит он к этой ситуации как бы с другой стороны. Если для Козеллека первичны социальные изменения, а для Скиннера – движение политической мысли, то для Шпитцера на первом месте человек с его глубинными психологическими нуждами.

Понятия (идеи, представления) и слова (лексикализации этих понятий) находятся в сложном диалектическом взаимодействии, причем именно язык, который позволяет переназывать, оспаривать, аргументированно отвергнуть тот или иной смысл, оказывается тем полем, в котором понятия претерпевают исторические трансформации. Один из ярких примеров такого рода трансформации дает Ханна Арендт в первой главе своей книги «О революции», которая отчасти предвосхищает анализ нововременных понятий у Козеллека: глубинное преобразование смысла политического действия (бунта против существующего порядка) нашло отражение в изменении семантики слова, прежде отсылавшего к закономерным процессам обращения (*revolutio*) космических тел или систем политического устройства [Арендт 2011: 18–72].

Поскольку мы осязаем историчность идей в их языковых отражениях (лексикализациях), историческая семантика не может не быть ориентированной на язык, причем на язык, увиденный как инструмент деятельной мысли (в духе Гумбольдта), а не как предзаданная компетенция (именно так язык понимает современная структурная лингвистика).

Сферу применимости предлагаемого подхода можно определить и от обратного. На дальнем конце спектра исторической устойчивости мы находим смыслы, которые, строго говоря, находятся за пределами *исторической* семантики. Именно их в российской науке часто обозначают термином «концепт». Об этих смыслах никто не спорит, они сами собой понимаются. Если они и становятся предметом рефлексии, то лишь как часть культурной мифологии, атрибут культурного или национального самосознания. (Лингвисты, которые пишут о концептуальных константах русской культуры, активно участвуют в создании этого наивного метасемантического дискурса.) С другой стороны, понятиями-долгожителями занимаются исторические лингвисты, которые, как правило, полагают значение слова (корня слова) неизменным, так как это необходимо для реконструкции его звуковой формы. Нужно признать, что целый ряд семантических эффектов, которые оказываются вне внимания историков понятий, обусловлен преобладанием значения слова, будь то в силу прозрачной внутренней формы, народной этимологии, его принадлежности к тому или иному регистру и стилю либо иных историко-культурных ассоциаций. Эти эффекты и ассоциации отнюдь не всегда очевидны и подотчетны носителям, хотя последние не могут не учитывать их в языковой практике; внима-

тельный анализ словоупотребления в *longue durée*, то есть часто с учетом родственных языков, иногда позволяет пролить на них свет. Самый известный опыт реконструкции таких ассоциативных гнезд – книга Эмиля Бенвениста «Словарь индоевропейских институтов» [Бенвенист 1995]. Необходимую корректировку подхода Бенвениста можно найти в «Словаре избранных синонимов основных индоевропейских языков» Карла Дарлинга Бака, остающемся незамеченным справочным изданием по сравнительной истории идей: данные понятийных кластеров, рассматриваемых в словаре Бака, показывают, что даже близкородственные языки часто используют для выражения одной и той же идеи слова с разнородной этимологией [Buck 1949].

Итак, на одном конце спектра устойчивости значения – множественные смыслы, находящиеся в зоне дискурсивного конфликта, на другом – идеологические константы и мифы, объединяющие людей с общим языковым сознанием и языковым бытом. Можно сказать, что само существование этого спектра обусловлено отчасти параметрами исследовательской оптики. Если данных достаточно, чтобы сосредоточиться на конкретных исторических коллизиях, то оказывается востребован исторический, а не этимологический метод; если же ученый стремится обобщить материал, относящийся в существенной мере к дописьменной эпохе, то он вынужден опираться на преемственность внутренней формы слова. Другое дело, что саму установку на выявление прерывности либо преемственности следует рассматривать как важный историко-культурный индикатор¹⁶.

В настоящем сборнике собраны работы исследователей, для которых историческая семантика в том или ином понимании представляет интерес – прежде всего, как подход к изучению культурных явлений. Мы не претендуем на создание единой методологической платформы – для этого, по-видимому, не пришло еще время. Однако каждый из участников сборника по-своему и на близком ему материале попытался подступить к решению этой задачи. Спектр проблем, о которых читатель сможет узнать из включенных в настоящий сборник работ, очень широк, но во всех случаях речь идет о диалектике языка и реальности, борьбе между закрепленными в лексике значениями и теми идеями, которые с их помощью стремятся выразить исторические агенты, антагонизме унаследованных форм знания и благоприобретенного опыта, продиктованного внеязыковыми историческими процессами.

Так, в сферу внимания авторов сборника попадают закономерности изменения значения слов под влиянием истории общества (классическая статья Антуана Мейе, впервые переведенная на русский язык); антропологическая специфика фундаментальных эпистемологических понятий (статья Томаса Коула, представляющая собой ответ филолога на философскую апроприацию древнегреческого понятия истины у Хайдеггера); устойчивые значения, которые не выражаются одной лексемой либо отвлеченным словом (Мария Неклюдова о констелляции смыслов, связывавшихся с выражением «в тени кабинетов» во Франции в XVI–XVIII веках); глубинная трансформация внешне устойчивого понятия с неизменной внутренней формой в разных эпистемологических контекстах (Юрий Кагарлицкий о меняющемся на протяжении Средневековья и Нового времени смысловом наполнении понятия мужества); значение отдельных симптоматичных слов-понятий в выстраивании аффективных и поведенческих стратегий (Вадим Школьников о прекраснотвории у ранних русских гегельянцев); трансфер значения между разными типами использования языка и функция понятий в литературном тексте (Илона Светликова о понятии закона в «Петербурге» Белого и его источниках); обратный процесс приспособления понятия из области литературного опыта к опыту историческому (Илья

¹⁶ Так, характерное для немецкой *Begriffsgeschichte* преимущественное внимание к понятиям, которые находятся в центре публичной дискуссии, а также осмысление доновременных понятий как продуктов сословного общества – само по себе является симптомом того исторического состояния, которое называется современностью. И наоборот, интерес к «константам» в России свидетельствует об историческом сознании, которое ищет опоры в стабилизирующих мифах о культурной однородности.

Клигер о понятии трагического в русской литературе и публицистике второй половины XIX века); понятийные схемы, в которые встраиваются идеи, заимствуемые из одной культуры в другую (Дмитрий Калугин о понятии «понятие»); конфликт между понятиями, которые можно отнести к разным режимам понятийности (Борис Маслов о покое и свободе в XVIII–XX веках); опыт метарефлексии о гетерогенности понятийного аппарата, заложенного в ключевую область воспроизводства культуры – систему образования (Илья Кукулин и Мария Майофис о понятийных экспериментах в истории советского образования). Таким образом, все включенные в сборник статьи нацелены не только на проследивание истории отдельных слов, но и на прояснение форм бытования смыслов в истории и языке.

К теории исторической семантики (I): типы понятийности

Историческая семантика предполагает изучение изменения значений слов, в которых она ищет симптомы трансформации культурных парадигм, дискурсов и эпистем (систем знания). Наследующая генеалогии Ницше «археология» Мишеля Фуко ставит перед собой схожую задачу: вскрыть «практики порядка», с помощью которых культура накладывает на бытие своего рода понятийную решетку, делая доступным познанию одно и скрывая из виду другое. В предисловии к «Словам и вещам» (1966) Фуко задал масштаб этой новой семантики культуры:

Ясно, что такой анализ не есть история идей или наук; это, скорее, исследование, цель которого выяснить, исходя из чего стали возможными познания и теории, в соответствии с каким пространством порядка конструировалось знание; на основе какого исторического *a priori* и в стихии какой позитивности идеи могли появиться, науки – сложиться, опыт – получить отражение в философских системах, рациональности – сформироваться, а затем, возможно, вскоре распасться и исчезнуть¹⁷.

Исследуя «эпистемологическое поле, *эпистему*», исследователь проясняет условия возможности познания и критерии ценности тех или иных элементов сущего. По прошествии более полувека со времени, когда были написаны эти слова, налицо некоторая прямолинейность принимаемых Фуко синхронистических предпосылок современной ему науки о культуре. Данные сравнительной исторической семантики (и, шире, исторической антропологии) никак не позволяют согласиться с тем, что «европейская» культура, возникшая в раннее Новое время, отделена от предшествующей и последующей эпох непреодолимыми эпистемологическими границами. Необходимость анализа форм глубокой преемственности в пределах той же «западной» традиции стала очевидна и самому Фуко; в своем последнем, оставшемся незавершенным труде «История сексуальности» он обратился к Античности. Тем не менее осознание странности, почти этнографической курьезности понятийных форм, свойственных иным историко-культурным формациям, остается важной составляющей исторической семантики в том виде, в котором этот подход понимается в настоящем сборнике. Понятия нередко только кажутся одинаковыми (кажутся, потому что их называют похожим или тем же словом); на деле их познавательная функция, их оценка (окраска), их роль в человеческом опыте определяются эпистемой и могут быть прояснены только через анализ последней. Понятия разнятся и типологически: очевидно, к примеру, что математические термины и отвлеченные понятия с размытой семантикой («псевдоимена» Фреге) функционируют в языке и культуре по-разному.

¹⁷ Une telle analyse, on le voit, ne relève pas de l'histoire des idées ou des sciences: c'est plutôt une étude qui s'efforce de retrouver à partir de quoi connaissances et théories ont été possibles; selon quel espace d'ordre s'est constitué le savoir; sur fond de quel *a priori* historique et dans l'élément de quelle positivité des idées ont pu apparaître, des sciences se constituer, des expériences se réfléchir dans des philosophies, des rationalités se former, pour, peut-être, se dénouer et s'évanouir bientôt [Foucault 1966: 13]. Пер. Н. С. Автономовой цит. по: [Фуко 1994: 34].

Таким образом, необходимо говорить о разных, исторически, социально и типологически обусловленных типах понятийности: существуют особые группы или категории понятий, которые объединены общими характеристиками и механизмами функционирования. Антуан Мейе выявил историческую подоплеку в процессах расширения и сужения значения при трансформации слов-понятий из специальных (ограниченных тем или иным аргументом) в общие, показав, что значения, входящие в общий узус, функционируют не так, как слова-термины (см. его статью «Comment les mots changent de sens» [Meillet 1906]; ее перевод представлен в настоящем сборнике). Это противопоставление существенно и для прояснения самого значительного вклада Козеллека в методологию истории понятий, который состоит в попытке прояснить специфику понятий, возникших в эпоху между серединой XVIII и серединой XIX века – в переходный период вокруг Великой французской революции.

Одна из существенных характеристик нововременных понятий, выявленных Козеллеком, – их универсализм: они не допускают различия между сословиями и классами и потому употребляются в единственном числе (коллективные «сингулярисы»). Вслед за Мейе можно сказать, что обобщение значения становится прямым следствием его демократизации, переходом из языка политической теории в язык улицы. В случае социополитических понятий обязательная претензия на универсализм сочетается с политической заостренностью: новые понятия – консерватизм, либерализм, социализм, демократия, коммунизм, революция – становятся консолидирующими слоганами и инструментами дискурсивного противостояния. Претензия на универсализм может сопровождаться утверждением исключенности из истории, то есть претензией на статус *идеи*. Между тем этические и политические представления даны нам всегда лишь в конкретно-понятийной форме. Идеологическая апроприация понятий состоит в том, что реально данный континуум исторического опыта и опыта его осмысления упрощается, сводится к узкому (мнимо-терминологическому) значению, которое экстраполируется на всю историю.

Кроме того, согласно Козеллеку, нововременные понятия описывают, а вернее предписывают некое будущее и в полной мере недостижимое состояние общества. Эта ориентация на будущее понятий, возникших в оговоренный период, связана с общей тенденцией к темпорализации: нововременные понятия описывают процессы, которые реализуются в истории, а не статичные явления. Так, само понятие истории (*Geschichte*), в дополнение к своему старому значению (соответствующему англ. *story*), получает значение динамического процесса [Koselleck 2006: 306–308]. Схожим образом свобода начинает осмысляться как процесс освобождения, как эмансипация – классов от государственного доминирования, отдельных групп от регуляций большинства, индивидуума от общества.

Понятия, обладающие подобными характеристиками, продолжают возникать и в наши дни постольку, поскольку, несмотря на кризис нововременного сознания, во многом сохраняют силу те исторические условия, которые описал Козеллек. Как пример позднейшего понятия из сферы, которую описывает Шпитцер в уже упоминавшемся исследовании о *medium ambiens*, можно привести «экологию» – нововременную модификацию понятия природы; описывая природный мир в категориях экологии, мы предписываем определенные формы взаимодействия с ним и ратуем за определенное будущее природы, так как мы понимаем, что и окружающий мир вовлечен в рукотворные (исторические) процессы. В том же, что эти процессы имеют преимущественно разрушительный характер (загрязнение окружающей среды, исчезновение видов, глобальное потепление), можно усмотреть признак кризиса нововременного сознания: в начале XXI века люди «не уповают на будущее, а видят в нем угрозу»¹⁸.

¹⁸ «...the future is perceived as a threat, not a promise» [Hartog 2015: xviii]. О кризисе нововременного сознания ср. также [Латур 2006; Gumbrecht 2014].

К теории исторической семантики (II): конструктивная роль понятий

В названии сборника присутствуют наименования трех сущностей: понятия, идеи, конструкции. **Идея**, в целом в согласии с тем, как древнегреческое слово *idéa* использовал Платон, – это некоторое представление, которое обладает устойчивостью и автономией. С точки зрения исследователя, это представление сохраняет свою целостность, попадая в разные контексты, переключаясь из текста в текст и из эпохи в эпоху. Историк идей может проследить то, как та или иная идея трактуется тем или иным автором, какое отражение она находит в том или ином произведении. Трансформация и рецепция таких отдельно взятых идей и составляет предмет интеллектуальной истории.

Выше речь шла о том, что историческая семантика представляет собой критику *идей* как готовых значений, вкладываемых в пассивно принимающие их языковые формы. В этом отношении генеалогический подход Ницше остается важным методологическим прецедентом и для современных исследователей. Однако мы не можем не принимать во внимание и другую перспективу: если бы смыслов вне языка вовсе не существовало, мы бы, вероятно, не смогли переводить с одного языка на другой. Мы должны признать: смысл существует до языка и вне языка, хотя в неартикулированном виде он едва ли непосредственно доступен исследовательской деятельности (разве что – в духе исторической семантики Лео Шпитцера – как некая сумма его отражений в разных языках). Мы знаем также, что человек склонен искать слово для некоторого возникшего у него представления (мысли, образа), а стало быть, это представление, или мысль, или образ в каком-то, пусть расплывчатом, виде существуют до своего языкового воплощения. Что еще более существенно, мы как-то узнаем, что, например, слова *добродетель*, *virtus* и *ἀρετή* означают примерно одно и то же и уже поверх этого единого смыслового стержня, возможно, различаются нюансами, коннотациями, ассоциациями и пр. Живучесть тех или иных представлений, их импорт из одной языковой среды в другую, наконец, их интермедальность, говорят о необходимости вынести за скобки особенности их языковой формы (тип словообразования, этимологию, семантическую сочетаемость и пр.). Этот общий, трансязыковой смысл может быть назван идеей. Занимаясь понятиями, мы постоянно обращаемся к изучению идей, и наоборот.

В отличие от идеи, **понятие** – это инструмент, помогающий мыслить. Опять же согласно его этимологии, ведущей нас прежде всего к немецкому *Begriff*, а затем к латинскому *conspicio*, понятие – это прием, который дает носителю языка возможность *ухватить* некоторый смысл, придать ему *понятность*, то есть сделать его потенциальным объектом осмысления. В отличие от идей, которые субъект знания в некотором смысле находит готовыми, понятие представляет собой усилие по освоению действительности. Многие понятия вообще не становятся предметом рефлексии, составляя тот инструментарий, с помощью которого носители той или иной культуры в тот или иной исторический период осмысливают мир. По этой причине исследование понятия без соотнесения с другими понятиями, без учета той функции, которую оно получает в той или иной системе знания, методологически было бы столь же наивно, как исследование одного слова вне языковой системы, в частности – без соотнесения с другими словами, которые входят в то же семантическое поле.

В этом отношении изучение понятий вновь возвращает нас к языку, но уже понятому в духе структурной лингвистики, – как совокупности правил порождения правильных (грамматичных) высказываний. Подобно тому как язык позволяет носителю творить новое, опираясь на заложенные в языке принципы, так и система понятий либо определенный режим понятийности дает возможность конструировать мир по-новому при помощи тех правил, которые существуют в рамках этой системы. Примером этого может послужить триадная понятийная конструкция, ставшая расхожей со времен Великой французской революции; в числе девизов университетов и колледжей, возникших в США в XIX и XX веках, преобладают именно такие триады, например: Learning, Virtue, Piety (Boston University), Wisdom, Faith, Service (University

of Tulsa), Artes Scientia Veritas (University of Michigan), Lux, Veritas, Virtus (Northeastern University), Vita, Dulcedo, Spes (University of Notre Dame), Union, Confidence, Justice (Louisiana Tech). В их числе четверка понятий «Scholarship, Character, Culture, Service» (Catawba College) выглядит аномально, почти аграмматично. Между тем среди девизов китайских университетов синтагмы из четырех элементов либо четырех понятий преобладают¹⁹. Иными словами, разные режимы понятийности включают в себя синтаксические правила соположения понятий. Прояснение характерного для Нового времени *синтаксиса* понятий – одна из насущных задач исторической семантики, которая на разном материале ставится в сборнике в статьях Дмитрия Калугина и Бориса Маслова.

Итак, понятия составляют устойчивые структуры, которые позволяют сообществу носителей понятийного аппарата участвовать в совместном толковании и изменении социального (и природного) мира. Понятия не замыкают процесс познания на созерцании некоторой сущности, а оказываются ключами к совокупности тех мыслительных приемов и структур знания, которые могут проявлять себя как определенная дискурсивная **конструкция**.

Под конструкцией мы понимаем смысловую структуру дискурса определенного типа. Конструкция основана на нескольких понятиях, каждое из которых играет свою конструктивную роль. Приведем простой пример. В образцах идеологизированного литературоведения советской эпохи присутствует понятие *реализм* (вместе с производным от него *реалистический*). Литературоведы обсуждали содержание терминов, стремились их уточнить, полемизировали о них и т. д., однако в текстах определенного рода у этих слов вполне определенная конструктивная роль – обозначить чистоту произведения от подозрений в различных идейно-эстетических прегрешениях: формализме, натурализме, патологических фантазиях и т. д.

Приведенный пример показывает, что конструктивная роль понятия определяется прагматикой употребления понятия и часто не определяется его теоретическим содержанием. Она близка к тому, что Скиннер и Покок понимают под «контекстом»: «Context is king» [Росcock 2006: 37]. Однако когда мы говорим о конструктивной роли понятия, мы уточняем: речь идет не просто о контексте его употребления, а о конструкции, в которой оно играет важную роль. По сути дела, можно сказать, что понятие в свернутом виде содержит всю конструкцию дискурса. Скажем, если вернуться к приведенному выше примеру, понятие реализма в свернутом виде содержит в себе всю конструкцию идеологизированной эстетической оценки. Реализм определяется не содержательно, а в противопоставлении разного рода «буржуазным» направлениям: формализму, натурализму и т. д., и когда искушенный читатель видит в тексте этот термин, он в состоянии восстановить если не весь дискурс, то, по крайней мере, заметный его сегмент. Само собой разумеется, смысловые сдвиги и трансформации понятия, изменения его смысла и содержания происходят из-за того, что меняется конструктивная роль понятия, включаемого в конструкцию того или иного дискурса.

Конструктивная роль понятия в настоящем сборнике подробно рассматривается на конкретном примере понятия *fortitudo* в статье Юрия Кагарлицкого. Концепция конструктивной роли, конечно же, нуждается в дальнейшей разработке и уточнении. Тем не менее можно говорить о том, что различные конструкции дискурса (даже если их так не называют) привлекают внимание исследователей исторической семантики ничуть не в меньшей степени, чем отдельные понятия. Строго говоря, трудно сказать, какой интерес первичен: изучаем ли мы понятия

¹⁹ Источник девизов: [List of university mottos 2018]. Предпочтение, которое отдается симметричным конструкциям в девизах китайских университетов, укоренено в идиоматике: «The four-character phrase becomes the standard form of the Chinese

成语 (formed saying). Modern Chinese (as well as Japanese and Korean) use a wide number of such idioms in everyday speech and writing. These are often set idioms that appear in four characters, and are drawn from a wide body of classical texts and sources» [Roy Chan, p. c.]. Приносим благодарность Рою Чану за консультацию.

и их семантические трансформации, чтобы понять те или иные конструкции дискурса, или, наоборот, анализируем конструкции дискурса, чтобы понять, как меняется со временем смысл и содержание понятия. Поэтому конструкции тематически не менее важны для нас, чем понятия и идеи.

Наше внимание к конструкциям дискурса обусловлено и еще одной важной причиной. Для философа естественно внимание к идеям или понятиям – именно они являются опорными точками тех или иных философских концепций. Для историка и вообще для любого нефилолога, при всем уважении к их профессиональным достоинствам, язык опосредует смысл почти исключительно на уровне лексики. Филолог же хорошо знает, что смысл передается не только на уровне лексики, но и на других уровнях языка, а также – что значение имеет не только общественно-политический контекст, но и жанр анализируемых текстов, их поэтика и риторика. Исторические смысловые сдвиги, вероятно, могут выражаться не только в изменении смысла отдельных слов и словарного состава, но и в смене риторических стратегий, поэтической образности, системы художественных и речевых жанров. Эти сдвиги не видны исследователю, сосредоточенному на лексикализованных понятиях, на словах, но они могут быть не менее важны для той дисциплины, которую мы называем исторической семантикой. И в таких случаях естественно перенести фокус исследовательского интереса с понятий на конструкции дискурса.

Итак, выявление конструктивной роли отдельных понятий позволяет нам, с одной стороны, анализировать эпистему как систему смыслов, неподвластную индивиду, а с другой, локализовать и прояснить предпринимаемую тем или иным автором работу над конструированием действительности. Эта работа касается как аффектов или эмоций (как в случае понятий *fortitudo* ‘мужество’ в упомянутой выше статье Кагарлицкого; *покой* в статье Маслова), так и совокупности представлений о человеке в его отношениях с историей и разными типами коллективного бытия, которые определенным образом *выстраивает*, например, понятие трагического в России во второй половине XIX века (статья Ильи Клигера) либо понятие закона в начале XX века (статья Илоны Светликовой).

Отталкиваясь от истории идей, этой своеобразной абстракции интеллектуальной жизни человечества, авторы сборника обращаются к понятийным конструкциям действительности, которые представляют собой ее символическую форму – активно проживаемую социальными агентами и служащую точкой приложения их усилий. Таким образом, теоретически углубленное представление об исторической семантике подводит нас к своего рода гуманитарно ориентированной исторической антропологии – науке о том, как человек (его этос и мораль, эмоции и поведенческие модели, приемы мысли, представления о времени, пространстве и знании) живет и меняется в истории и одновременно трудится над пониманием истории, своей жизни и всех мыслимых видов взаимодействия между ними.

Литература

[Бенвенист 1995] – Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Прогресс, 1995 [1969].

[Бобрик, Калугин 2016] – Бобрик М. А., Калугин Д. Я. «Бодрый наш народ»: семантика бодрости в контексте русской национальной идеи // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 2016. Т. IX. С. 340–357.

[Вежицкая 2001] – Вежицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки славянской культуры, 2001 [1997].

[Виноградов 1994] – Виноградов В. В. История слов. М.: Толк, 1994.

[Виноградов 1995] – Виноградов В. В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 5–36.

[Дуринова 2015] – *Дуринова Г. В.* Слово как объект исторической семантики: *гражданин и общество* в русском языке второй половины XVIII – первой трети XIX в. Дис. ... канд. филол. наук (специальность 10.02.01 – русский язык). На правах рукописи. М., 2015.

[Гумбольдт 1984] – *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.

[Живов 2009а] – *Живов В. М.* Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В. М. Живова. М.: Языки славянских культур, 2009.

[Живов 2009б] – *Живов В. М.* История понятий, история культуры, история общества // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. М.: Языки славянских культур, 2009. С. 5–26.

[Живов 2012] – *Живов В. М., Кагарлицкий Ю. В.* Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов и Ю. В. Кагарлицкий. М.: Языки славянских культур, 2012.

[Копосов 2006] – *Копосов Н. Е.* Исторические понятия и исторические идеи в России XVI–XX веков / Отв. ред. Н. Е. Копосов. СПб.: Алетейя, 2006.

[Лавджой 2001] – *Лавджой А. О.* Великая цепь бытия: история идей. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001 [1936].

[Латур 2006] – *Латур Б.* Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии / Пер. Д. Я. Калугина. СПб.: ЕУ, 2006 [1991].

[Маслов 2016] – *Маслов Б. П.* Любя вселенный покой: замечания к исторической семантике состояния покоя // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 2016. Т. IX. С. 358–376.

[Миллер, Сдвижков, Ширле 2012] – *Миллер А., Сдвижков Д., Ширле И.* «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова и И. Ширле. Т. 1–2. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

[Скиннер 2002] – *Скиннер Кв.* The State // Понятие государства в четырех языках / Под ред. О. Хархордина. Пер. Дмитрия Федотенко. СПб.: Летний сад, 2002 [1989]. С. 12–74.

[Степанов 1997] – *Степанов Ю. С.* Константы: Словарь русской культуры: опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997.

[Хархордин 2002] – *Хархордин О.* Что такое «государство»? Русский термин в европейском контексте // Понятие государства в четырех языках / Под ред. О. Хархордина. Автор. пер. Д. Калугина. СПб.: Летний сад, 2002 [2001]. С. 152–217.

[Фреге 1977] – *Фреге Г.* Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Восьмой выпуск. М.: ВИНТИ, 1977. С. 181–210.

[Фуко 1994] – *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: Талисман, 1994 [1966].

[Allan, Robinson 2012] – *Allan K., Robinson J. A.* Current Methods in Historical Semantics / Ed. K. Allan, J. A. Robinson. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012.

[Bruner, Conze, Koselleck 2004] – *Bruner O., Conze W., Koselleck R.* Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hrsg. von O. Bruner, W. Conze, R. Koselleck. B. I–VIII. Stuttgart: Klett-Cotta, 2004 [1972–1997].

[Buck 1949] – *Buck C. D.* A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago: University of Chicago Press, 1949.

[Deo 2015] – *Deo A.* Diachronic Semantics // Annual Review of Linguistics. 2015. Vol. 1. P. 179–197.

[Frege 1892] – *Frege G.* Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. 1892. Band 100. S. 25–50.

[Evans 2009] – *Evans N.* Dying Words: Endangered Languages and What They Have to Tell Us. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2009.

- [Foucault 1966] – *Foucault M.* Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966.
- [Gumbrecht 2014] – *Gumbrecht H.-U.* Our Broad Present: Time and Contemporary Culture. New York: Columbia University Press, 2014.
- [Hartog 2015] – *Hartog F.* Presentism: Stopgap or New State? // *Regimes of Historicity: Presentism and Experience of Time.* New York: Columbia University Press, 2015. P. XIII–XIX.
- [Humboldt 1836] – *Humboldt W. von.* Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Berlin: Gedruckt in der Druckerei der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1836.
- [Jurafsky 1996] – *Jurafsky D.* Universal tendencies in the semantics of the diminutive // *Language.* 1996. Vol. 72 (3). P. 533–578.
- [Koselleck 1979] – *Koselleck R.* Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.
- [Koselleck 2004] – *Koselleck R.* Einleitung // *Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* / Hrsg. von O. Bruner, W. Conze, R. Koselleck. B. I. Stuttgart: Klett-Cotta, 2004 [1972]. S. XIII–XXVII.
- [Koselleck 2006] – *Koselleck R.* Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006.
- [Leavitt 2010] – *Leavitt J.* Linguistic relativities: language diversity and modern thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [List of university mottos 2018] – *List of university mottos.* List of university mottos // Wikipedia. 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_university_mottos.
- [Meillet 1906] – *Meillet A.* Comment les mots changent de sens // *L'Année sociologique* 1905–1906. 1906. P. 1–38. Перевод этой статьи см. в настоящем сборнике.
- [Pocock 2006] – *Pocock J. G. A.* Foundations and moments // *Rethinking the Foundations of Modern Political Thought* / Ed. Annabel Brett, James Tully with Holly Hamilton-Bleakley. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 37–49.
- [Silverstein 2004] – *Silverstein M.* «Cultural» Concepts and the Language-Culture Nexus // *Current Anthropology.* 2004. Vol. 45 (5). P. 621–652.
- [Skinner 1989] – *Skinner Q.* The State // *Political Innovation and Conceptual Change* / Ed. T. Ball et al. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 90–131.
- [Skinner 1998] – *Skinner Q.* Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- [Skinner 2008] – *Skinner Q.* Hobbes and Republican Liberty. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- [Spitzer 1942] – *Spitzer L.* Milieu and Ambience: An Essay in Historical Semantics // *Philosophy and Phenomenological Research.* 1942. Vol. 3.1. P. 1–42; Vol. 3.2. P. 169–218.
- [Spitzer 1968] – *Spitzer L.* Essays in Historical Semantics. New York: Russell & Russell, 1968 [1947].
- [Thiergen 2006] – *Thiergen P.* Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von P. Thiergen. Köln: Böhlau, 2006.
- [Williams 1985] – *Williams R.* Keywords: a vocabulary of culture and society. Rev. ed. New York: Oxford University Press, 1985.

Как слова меняют значение (1906)²⁰

Антуан Мейе²¹

I

Для существования языка необходимы прежде всего человеческие сообщества, которым он в свою очередь служит незаменимым и постоянно используемым инструментом; если не считать исторических случайностей, границы различных языков обычно совпадают с границами социальных групп, именуемых народами; отсутствие языковой общности – признак государства молодого, как в случае Бельгии, или искусственно созданного, как в случае Австрии; следовательно, язык – это в высшей степени социальное явление. Язык действительно точно подпадает под определение, предложенное Дюркгеймом: он существует независимо от каждого из говорящих на нем индивидов, и, не имея никакой реальности вне совокупности этих индивидов, он тем не менее, в силу своего общего характера, внеположен по отношению к каждому из них; на это указывает и то, что ни один из них не в силах его изменить, и то, что любое индивидуальное отклонение в употреблении вызывает реакцию, которая чаще всего сводится к высмеиванию того, кто говорит не так, как все; однако в современных цивилизованных государствах эта реакция может иметь и более серьезные последствия, вплоть до недопущения до государственных должностей, посредством экзаменов, тех, кто не способен соответствовать языковой норме (*bon usage*), принятой в той или иной социальной группе. Итак, те свойства внеположенности индивиду и принуждения, с помощью которых Дюркгейм определяет социальный факт, со всей очевидностью проявляются и в языке.

Тем не менее лингвистика до сих пор существует в отрыве от совокупности социологических наук, столь деятельно заявляющих о себе, и, что еще более существенно, чуждается практически любого систематического рассмотрения социальной среды, в которой развиваются языки. Такое положение дел, на первый взгляд удивительное и парадоксальное, можно объяснить, если принять во внимание обстоятельства возникновения лингвистики; языки обыкновенно изучаются не ради них самих; все те, кто занимался их изучением, делали это с целью точного исполнения религиозного ритуала, понимания древних религиозных или юридических текстов, усвоения иностранных языков или же наконец для того, чтобы правильно говорить или писать на языке большей социальной группы, разошедшемся с обыденным языком и особенно с языком различных частей этой группы; изучают лишь те языки, на которых не говорят естественным образом, и делается это для того, чтобы получить возможность ими пользоваться. Главной целью лингвистических исследований повсеместно являлась практика, и вследствие

²⁰ Перевод Т. Никитиной и Б. Маслова. Первая публикация: *Meillet A. Comment les mots changent de sens // L'Année sociologique. 1905–1906. P. 1–38.* Включено с некоторыми добавлениями в собрание статей Мейе: *Linguistique historique et linguistique générale. T. 1. P. 230–271. Paris: Champion, 1926* (издание многократно перепечатывалось). Перевод сделан по книжному изданию. В свете исторического значения статьи в ней сохранены особенности построения абзацев и оформление ссылок на научную литературу (так, некоторых ученых автор называет только по фамилии, некоторых по имени и фамилии, а многих – с прибавлением *M[onsieur]*). В переводе словом *идея*, как правило, передается *idée*, словом *понятие* – *notion*, словом *представление* – *représentation*. За разрешение на публикацию перевода статьи редакторы благодарят Editions Honoré Champion.

²¹ Антуан Мейе (1866–1936), французский лингвист, индоевропеист, славист. Ряд его книг переведен на русский язык: «*Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes*» (1903) = «Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков» (Юрьев, 1911; переиздания: Юрьев, 1914; М., 1938, 2002, 2007, 2009), «*Caractères généraux des langues germaniques*» (1917) = «Основные особенности германской группы языков» (М., 1952; переиздания: 2003, 2010), «*Le slave commun*» (1924) = «Общеславянский язык» (М., 1951; переиздания: 2000, 2011), «*La méthode comparative en linguistique historique*» (1925) = «Сравнительный метод в историческом языкознании» (М., 1954; переиздание: 2004).

этого рассматривались не процессы, приводящие к сохранению и развитию языков, а конкретные факты: произношение, слова, грамматические формы и построение фраз.

В результате лингвистика оказалась в выигрыше, так как она обрела строгую объективность и разрабатывалась методически в то время, когда большинство других социальных наук еще не существовали либо представляли собой лишь расплывчатые идеологии; однако все, чего можно достичь, не выходя за узкие рамки рассмотрения языковых фактов, – это установить между этими фактами более или менее определенные отношения одновременности или последовательности, так и не определив общие условия их возникновения и становления, то есть так и не определив их причины.

Уже был сделан большой шаг вперед: лингвистика вышла за пределы древней грамматики в тот момент, когда была поставлена задача определить, с одной стороны, анатомические и физиологические условия артикуляции, а с другой – психические явления, воздействующие на человеческий язык. Тем самым мы приблизились к тому, чтобы постичь смысл большого числа лингвистических фактов, имеющих непосредственное отношение либо к психологии, либо к физиологии. Однако с самого начала было очевидно, что эти факты не удастся объяснить исключительно физиологическими и психологическими соображениями; в то время как процессы реализации фактов языка отчасти прояснились, определяющие их причины остаются столь же темными; стало понятнее, как развиваются языки; но все еще неизвестно, какими действиями определяются те явления инновации и консерватизма, совокупность которых и составляет историю языка. Между тем во всем этом нет ничего неестественного: если среда, в которой развивается язык, – это социальная среда, если функция языка – сделать возможными социальные отношения, если язык поддерживается и сохраняется лишь этими отношениями, если, наконец, границы языков, как правило, совпадают с границами социальных групп, то очевидно, что причины, от которых зависят языковые факты, должны иметь социальную природу и что только рассмотрение фактов социальных позволит лингвистике перейти от изучения голых фактов к определению процессов, то есть от изучения предметов к изучению действий, от установления и констатации связей между сложными явлениями к анализу относительно простых фактов, каждый из которых рассматривается в своеобразии его развития.

Как только проблема оказывается поставлена таким образом, сразу же выясняется, что факты, неразличимые при рассмотрении с чисто лингвистической точки зрения, на самом деле разнородны. Например, переход французского сочетания *wè* (отображаемого на письме как *oi*, в соответствии с древним написанием, которое уже в XIII веке перестало быть точным) в *wa* в таких словах, как *moi* ‘я’, *roi* ‘король’, *boire* ‘пить’ и т. д., произошел в Париже в результате спонтанного фонетического процесса, который должен был совершиться, независимо и неизбежно, в каждом, кто учился говорить в определенный период времени; в других местах этот же переход происходил благодаря имитации парижского языка и представлял собой факт заимствования; он мог получить там такое же распространение, как в Париже; тем не менее это явление другого порядка; лингвист в строгом понимании может смешать эти два типа фактов; и он даже неизбежно смешает их в тех случаях, когда у него нет сведений о том, каким образом в двух областях получился одинаковый результат; однако если он попытается определить причины этого, он сможет сделать это только тщательно различая эти два процесса и только тогда, когда у него есть возможность их разделить; так как, с одной стороны, он столкнется с типом спонтанной фонетической инновации, физиологическая природа развития которой уже исследована с большой точностью для большого числа случаев и даже общие модальности которого определены (как это было сделано для некоторых трансформаций М. Граммон [M. Grammont]), хотя ее движущие причины не становятся от этого менее темными и загадочными; с другой стороны, он столкнется с вытеснением местных наречий французским – с историческим фактом, непосредственные причины которого ясны и который относится к общему

типу вытеснения большими, общими языками цивилизации отдельных языков малых местных сообществ.

Во втором явлении проявляется тенденция, которая заставляет членов одной социальной общности соответствовать друг другу во всем, что полезно для выполнения их совместных функций. Первое же явление – спонтанный переход – само по себе можно объяснить одним и тем же действием, которое должны были совершить одним и тем же способом все дети, рожденные в Париже в течение определенного периода времени. Здесь принципиально различие между двумя процессами; по сути же дела ясно, что надеяться определить природу этого прямого действия можно только в том случае, если его удалось сперва точно локализовать.

II

Группа лингвистических фактов, для которых действие социальных причин в настоящее время опознается с наибольшей уверенностью и определяется с наибольшей точностью, – это инновации, приносимые в значение слов²². Однако, в соответствии с только что сформулированным принципом – принципом различения процессов, – не следует представлять себе все изменения значения одним и тем же общим образом.

Первая классификация изменений значения была, разумеется, классификацией логической; она была построена на различиях в распространении и понимании слов; изменения значения представлялись так, как если бы они были обусловлены разного рода метафорами. Эти априорные представления все еще всецело преобладают в небольшой книге Арсена Дарместера о «жизни слов» [«Vie des mots»].

В своей рецензии Мишель Бреаль, прежде всего отметив элемент схоластики в данном методе, выявляет психическую и социальную реальность, скрывающуюся за этими абстракциями (см. статью «История слов», перепечатанную в: *Essai de sémantique*, 3-е изд., с. 279 и далее). Впоследствии Бреаль вернулся к этим наблюдениям в *Essai de sémantique* и разработал их со свойственными ему тонкостью и чувством реальности, не следуя, однако, принципу полного и исчерпывающего исследования.

С другой стороны, относительно недавно [Вильгельм] Вундт в своей книге «*Sprache*» посвятил изменениям значения большую главу и показал, посредством какой сложной игры ассоциаций и апперцепций слова меняют свое значение, решительно замещая априорные подразделения логиков подробным рассмотрением психической реальности; продолжать рассуждать о языковых метафорах в расплывчатых терминах, как это слишком часто делали до сих пор, стало более невозможно. Однако сам Вундт не оспаривает того, что ассоциациями объясняется далеко не все, и было бы легко показать, что хотя ассоциация и является важной составляющей психических фактов, играющих роль в изменении значения, она ни в коем случае не является той движущей причиной, которая их определяет; то, что исследования значения слов в их развитии не привели пока, несмотря на многочисленные попытки, к построению полной теории, связано с тем, что факты все еще предпочитают угадывать, не прилагая усилия к тому, чтобы проследить историю слов и из рассмотрения этой истории вывести строгие принципы. Ничуть не в меньшей степени, чем в семантике, определить априори условия возникновения явлений такого рода невозможно, так как ни в одной области лингвистики эти условия не представляются более сложными, многообразными и разнящимися от случая к случаю.

Тем не менее можно сказать, что хотя из-за отсутствия достаточных сведений часто – а возможно, и в большинстве случаев – оказывается невозможно определить условия конкретного изменения значения, общие причины этих изменений в настоящее время в целом

²² Основную библиографию и краткий исторический обзор по семантике можно найти в статье: *M[onsier] Jaberg K.* [Pejorative Bedeutungsentwicklung im Französischen.] *Zeitschrift für romanische Philologie* [1901]. Vol. XXV. P. 561 и далее.

известны, и достаточно систематически классифицировать наблюдаемые факты и найденные им надежные объяснения, чтобы увидеть, что под рубрикой изменений значения объединяются факты совсем разной природы и относящиеся к совершенно различным процессам, вследствие чего их изучение не может проводиться в рамках одной лингвистической области.

Прежде чем перечислить процессы, приводящие к изменению значения, важно вспомнить о том, что языковые явления обладают характерной специфичностью и что движущие причины, которые будут рассмотрены ниже, оказывают воздействие не сами по себе, а только в сочетании с фактами особого рода – языковыми фактами.

Следует учитывать прежде всего принципиально прерывный характер передачи языка: ребенок, который учится говорить, не получает язык в готовом виде: он должен воссоздать его в своем употреблении целиком на основании того, что он слышит вокруг себя, и практический опыт показывает, что маленькие дети поначалу приписывают словам значения, сильно отличающиеся от тех, что вкладывают в те же слова взрослые, от которых дети эти слова узнают²³. Поэтому если в результате постоянного действия одной из тех причин, которые будут рассмотрены ниже, в языке взрослых какое-то слово часто употребляется особым образом, внимание ребенка привлекает именно это обычное значение, старое же значение слова, которое еще преобладает в представлении взрослых, в новом поколении стирается; рассмотрим, к примеру, слово *saoul*, старое значение которого – ‘пресыщенный’; это слово стали употреблять применительно к пьяным, «пресыщенным выпивкой»; первые, кто начал употреблять таким образом слово *saoul*, выражались в ироническом смысле и стремились избежать грубого, но точного слова *ivre* ‘пьяный’, однако услышавший их ребенок попросту связал со словом *saoul* образ пьяного человека, и таким образом *saoul* стало синонимом слова *ivre* и даже вытеснило его в повседневном употреблении, так что теперь уже слово *saoul* выражает эту идею в более резкой форме. Самой по себе прерывности в передаче языка недостаточно, чтобы что-либо объяснить, но без нее никакая причина изменений не могла бы преобразовать значение слова столь радикально, как это произошло в большом числе случаев: в целом именно в прерывности передачи состоит первое условие, которое определяет как саму возможность, так и модальности всех языковых изменений; один теоретик даже пошел так далеко, что попытался объяснить прерывностью все языковые изменения (см.: *Herzog E. Streitfragen der romanischen Philologie*. I).

Если говорить собственно об изменении значения, важным обстоятельством является то, что слово – как произнесенное, так и услышанное – практически никогда не вызывает образ предмета или действия, которые оно обозначает; как справедливо отмечает Фредерик Полан (M[onsieur Frédéric] Paulhan), слова которого приводит Эжен Лерой (M[onsieur Eugène] Leroy (*Le langage*, p. 97), «понять слово, фразу – это значит не составить образ реальных предметов, которые представляет это слово или эта фраза, но почувствовать в себе слабое пробуждение разного рода стремлений, которые вызывает восприятие представленных этим словом предметов». Образ, который представляется сознанию столь редко и к тому же столь нечетко, поддается изменениям без большого сопротивления.

Все изменения формы или употребления, которые претерпевают слова, косвенным образом способствуют изменению значения. Пока слово сохраняет связь с определенной группой лексических образований, оно поддерживается общим значением всего типа и его значение характеризуется вследствие этого некоторой устойчивостью; но если по какой-либо причине группа распадается, различные составляющие ее элементы более не поддерживают друг друга и оказываются открыты различным влияниям, которые часто приводят к изменению значения. Рассмотрим, например, латинское прилагательное *vivus*: в латыни оно неотделимо от глагола *vivere* ‘жить’, от существительного *vita* ‘жизнь’ и т. д., а следовательно, никак не могло бы утра-

²³ На эту тему стоит отослать прежде всего к очень интересной главе книги: *Pavlovitch M. Le langage enfantin* [1920], в особенности с. 110 (и далее) и 116 (и далее).

тить значение ‘живущий’. Но с того момента как произношение отделило, как это произошло во французском, прилагательное *vif* от глагола *vivre* и корневая общность со словом *vie* перестала быть различимой, на первый план мог выйти оттенок значения, присутствовавший уже в латыни – значение ‘подвижный, оживленный’.

Такое слово, как *tegmen*, которое восходит в латыни к прозрачному и продуктивному типу образования, вследствие этого неотделимо от глагола *tegere* ‘закрывать’ и сохраняет свое общее значение ‘покрытие, покров’. Такое существительное, как *tectum*, напротив, принадлежит к типу образования, который в латыни уже не продуктивен, и потому оно смогло получить специальное значение – ‘крыша’; другое существительное, принадлежащее в том же языке к столь же непродуктивному типу образования, – *tegula* – приобрело еще более узко специализированное значение: ‘черепица’; наконец, *toga* – очень древнее и практически уникальное в своем роде латинское образование – в наибольшей степени удалено по значению от основной группы, включающей *tegere* и *tegmen*, и описывает вид одежды.

В латыни слово *captivus* ‘пленник’ было напрямую связано с *capere*, *captus* и т. д., и потому значение ‘пленный’ не могло быть потеряно из виду; однако глагол *capere* был отчасти утрачен, сохраняясь лишь в специальных значениях, и в романских языках значение ‘брать’ выражается дериватами *prehendere*; с этого момента слово *captivus* было отдано на милость внешним воздействиям и приобрело значение ‘жалкий, плохой’ в итальянском (*cattivo*) и во французском (*chétif*; региональное *cheti* на большей части территории Франции означает ‘плохой’).

В немецком слово *schlecht*, означавшее ‘единый, простой’, приобрело, под влиянием *schlichten* ‘объединять, выравнивать, распутывать’, слово-дублет *schlicht*; поскольку *schlicht* было связано с *schlichten*, оно сохранило старое значение, в то время как прилагательное *schlecht*, очутившись в изоляции, претерпело сильные изменения; *ein schlechter mann* получило значение ‘простой человек, человек из низшего сословия’, в противопоставлении людям, занимающим более или менее высокое положение; в аристократическом обществе, каким было общество XVIII века, где сословия были четко разграничены, *ein schlechter mann* не пользовался почетом, это был человек незначительный, никчемный, и слово *schlecht* таким образом повторило путь, пройденный словом *captivus* в романских языках: оно стало означать попросту ‘плохой’, и это значение полностью закрепилось уже в начале XIX века.

Французское диалектное *maraud* ‘кот’ послужило основой глагола *marauder* ‘безобразничать’ (*faire le matou*); в Берри, где слово *maraud* выходит из употребления, производный глагол *marauder*, исходно означавший ‘громко мяукать’, стал употребляться применительно к действию ‘шумно и неприятно плакать’ (по большей части презрительно); литературный французский, в котором слова *maraud* никогда не было, заимствовал *marauder* в значении ‘красть’, с особым оттенком значения; несомненно, ни одно из этих изменений значения не было доведено до конца с такой полнотой в тех диалектах, в которых слово *maraud* ‘кот’ существовало (см. данные в: *Sainean. La création métaphorique en français et en roman. I.* [Halle, 1905]. P. 73, 84). – Примеры такого рода бесчисленны.

С другой стороны, рассмотренные языковые условия – будь то прерывность при передаче языка или изоляция отдельных слов – всегда являются в каком-то смысле отрицательными; они обеспечивают языковую возможность изменения значения, но не могут его предопределить; это необходимые, но не достаточные условия. Движущие причины инноваций еще предстоит выявить.

Общие причины, которыми можно объяснить изменения значения, по-видимому, можно отнести к трем большим типам, которые не сводятся один к другому и соответствуют трем видам различных действий; результатом является, во всех трех случаях, изменение значения, и потому лингвист склонен рассматривать их вместе; тем не менее эти три процесса принципиально различны и в действительности не имеют между собой ничего общего, кроме результата,

так что в рамках по-настоящему научного исследования их следует рассматривать по отдельности.

Некоторые изменения, относительно немногочисленные, происходят по собственно языковым причинам: их источник – структура некоторых фраз, в которых данное слово, как кажется, играет особую роль. Так, в отрицательных, вопросительных или условных предложениях слово с общим значением, такое как *homme* ‘человек’ или *chose* ‘предмет’, часто передает совершенно неопределенное значение; как уже было отмечено, слова не вызывают обычно ясный образ тех предметов, с которыми они связаны; обороты такого рода, очень расплывчатые сами по себе и сделавшиеся еще менее выразительными вследствие частого повторения, не вызывают никакого образа ни у говорящего, ни у слушающего. Современное армянское *marth* ‘человек’ в таких выражениях, как *marth tch ga*, «ни один человек не присутствует здесь (= здесь никого нет)», или *marth egaw*, «человек пришел? (= кто-то пришел?)», уже имеет совершенно неопределенное значение; точно так же слово *manna* ‘человек’ употребляется в текстах на готском – древнейших германских текстах, которыми мы располагаем. Таким образом, слово «человек» имеет тенденцию приобретать неопределенное значение, и именно в результате такого процесса приобрели свое характерное значение французское *on* (продолжение латинского *homo*) и немецкое и английское *man* (соответствующее готскому *manna*). Латинское *alter* означало ‘другой’, когда речь шла о двух объектах, то есть ‘второй, один из двух’; в отрицательном предложении, однако, *alter* практически не отличается по значению от *alius* ‘другой, по отношению к более чем двум’; фразу Овидия *neque enim spes altera restat* можно перевести либо как «нет второй надежды», либо как «нет другой надежды», без принципиального различия в значении. Слово *alter* приобрело в выражениях этого типа значение *alius*; это значение было перенесено на некоторые другие фразы, и романские языки, утратив *alius*, сохранили для выражения значения ‘другой’ только *alter*. К окончательной утрате противопоставления между сравнением двух объектов (тип *validior manium*, «более сильная из двух рук») и сравнением множественных объектов (*validissimus virorum*, «сильнейший из мужей») привело исчезновение сравнительной и превосходной степени. Точно так же, под влиянием *ne*, французские слова *pas*, *rien*, *personne* приобрели в отрицательных предложениях отрицательное значение, так что отрицание *ne* в современном французском стало ненужным, тогда как *pas*, *rien*, *personne* в простом разговорном языке стали передавать отрицание сами по себе. Латинское слово *magis* ‘более, больше’ в начале фразы, где оно начало употребляться уже в латыни, служило связкой между двумя предложениями и превратилось во французское *mais*. Как мы видим, все эти чисто языковые процессы не столько приводят к изменению значения, сколько преобразуют слова с конкретным значением в простые грамматические средства, в элементы построения фразы. Это следует непосредственно из самой природы данного процесса.

Верно и обратное: грамматические категории порой способствуют изменению значения слова. Так, латинское *homo* служило для обозначения человеческого существа безотносительно к полу; однако грамматически слово *homo* относилось к мужскому роду, которым, в тех случаях, когда он имел определенное значение, обозначался мужской пол; это привело к тому, что слова, продолжающие *homo* в романских языках, присоединили к значению ‘человек’ значение ‘человек мужского пола’, и слово *vir*, имевшее данное значение в древней латыни, было утрачено.

В греческом один и тот же корень обслуживал аорист, означавший ‘видеть’, ἰδεῖν, и перфект, означавший ‘знаю’, οἶδα; на древность обоих этих значений указывает то, что одно из них засвидетельствовано в латинском *videre* и т. д., а другое – в санскритском *veda* ‘знаю’, готском *wait* (немецкое *weiss*) и т. п., славянский же точно так же противопоставляет *viděti* ‘видеть’ и *věděti* ‘знать’; эти значения держатся на том, что аорист, описывающий действие само по себе,

передает простое ощущение ('видеть'), в то время как перфект, описывающий результат предшествующего действия, подходит для значения 'знать'.

Эти примеры, в которых главной движущей силой изменения является грамматическая форма, относятся к достаточно редкому типу, так как грамматические категории, соответствующие какой-либо объективной реальности, малочисленны, а следовательно, и условия реализации этих процессов встречаются не очень часто; однако грамматическая форма слова повсеместно является одним из элементов, от которых зависит изменение или сохранение значения.

Ко второму типу изменения значения относятся случаи, когда меняются сами предметы, описываемые словами. Хотя слова *père* 'отец' и *mère* 'мать' во французском языке представляют собой точные продолжения праиндоевропейских слов, обозначавших отца и мать, французские слова не связаны с теми же представлениями, что соответствующие праиндоевропейские слова; эти праиндоевропейские слова обозначали определенные социальные отношения, но не обязательно передавали отношения физиологического отцовства и материнства; последние обозначались словами, представленными в латыни как *genitor* и *genitrix*; но с тех пор как изменилась социальная структура и патриархальная семья праиндоевропейцев ушла в прошлое, словами *père* и *mère* обозначаются прежде всего физическое отцовство и материнство; по этой причине слова *père* и *mère* применяются к животным: в просторечном французском *père* означает 'самец', а *mère* – 'самка', и это значение настолько устоялось, что в некоторых французских говорах местные формы *père* и *mère* обозначают лишь самца и самку животных, а для обозначения собственно отца и матери используются общезападные формы (которые представляются более элегантными и лучше передают статус родителей); в древних индоевропейских языках слова, соответствующие латинскому *pater* и *mater*, не допускают такого употребления; они указывают на социальное положение, статус, и передают религиозное значение, которое ясно проявляется в имени *Juppiter* (древнее *dyeu-pater*, «Отец Сид»).

Еще один пример показывает, к каким странным изменениям может приводить трансформация предметов. В какой-то момент одним из наказаний, к которым приговаривали французских преступников, была отправка в качестве гребцов на королевские галеры; поэтому выражение *envoyer aux galères* 'послать на галеры' использовалось для описания приговора к тяжелому наказанию; когда на кораблях перестали использоваться весла, преступников стали ссылать на каторгу; однако выражение *послать на галеры* сохранилось, и словом *galérien* обозначали каторжника, отбывшего наказание в какой-либо тюрьме; теперь этот термин выходит из употребления, но в той мере, в какой он еще используется, его единственным значением остается 'каторжник'.

Изменениям такого рода подвержены постоянно почти все слова; но замечают их только тогда, когда они представляют собой что-то исключительное и странное; мы говорим о *papier* (латинское *papyrus* ['папирус']) *de chiffons* ['холст', букв. 'тряпичная бумага']; замена гусиного *пера* на стальное не привела к замене слова, и так далее: изменения предметов лишь в ограниченной мере сопровождаются изменением слов, поскольку слова, будучи уже связаны с очень сложными представлениями, легко связываются с представлениями, имеющими какие-то общие черты с теми, которые принадлежали предшествующему поколению. Именно поэтому вариативность в значении многих слов, то есть по сути вариативность понятий, связанных с присвоенными им именами, отражает очень глубокие социальные изменения: вся история греческого общества косвенным образом отражается в противопоставлении товарища по оружию или товарища по морской экспедиции гомеровской эпохи, ἑταῖρος, афинской или александрийской куртизанке, ἑταῖρα.

К этой категории следует относить изменения, которые происходят в результате замещения слова, отмеченного каким-либо «табу», или – что по сути дела является смежным случаем – слова, которого избегают из соображений приличия; специальных слов со значением

‘проститутка’ избегают из приличия, что приводит к ассоциации проститутки с наименованием замужней женщины; поэтому²⁴ *garce*, а затем *fille* последовательно служили для обозначения публичной девки; здесь мы имеем дело с применением имени к объекту, к которому оно не отсылало специально, но к которому оно оказалось прикреплено в результате действия, в точности подобного тому, что привело к именованию *пером* железного наконечника, заменившего прежде использовавшееся заточенное гусиное перо; исходная причина имеет здесь социальную природу, но эта социальная причина действует во многом схоже с тем, как действует изменение реальности, обозначаемой именем.

Одно и то же слово меняет значение в зависимости от места; поэтому праиндоевропейское слово **prtu-*, означавшее ‘место, через которое можно пройти’, обозначает, в зависимости от случая, мост, дверь или брод (все три значения засвидетельствованы в древнеиранском, в языке Авесты); только случайностью местных обстоятельств объясняется то, что в латыни *portus* сохраняется лишь в значении ‘порт’ (в то время как ближайшее слово *porta* принимает значение ‘дверь’) и что галльское *ritu-* в *Ritu-magus* [‘Поле у брода’ (*Champ du gué*)] со староваллийским *rit* и древнеанглийское *ford* с древневерхненемецким *furt* (которые являются одним и тем же словом) сохраняют только значение ‘брод’.

Развитие значения отражает социальную организацию и организацию домашнего быта. Интересно проследить, к примеру, как слово со значением ‘вне’ происходит от названия двери: *foras* и *foris* в латыни, θύραζε, θύρασι, θύρηφι в греческом, *durs* в армянском, *dar* в персидском; и это согласуется с тем, что ‘вне’ одновременно означает ‘в полях’, то есть ‘вне дома’: *immaig* ‘foras’ и *immaig* ‘foris’ (ср. *mag* ‘поле’) в ирландском, *erméaz* в бретонском; *i maes* (ср. *méaz*, *maes* ‘поле’) в валлийском; *laukan*, *lauke* (ср. *laukas* ‘поле’) в литовском и *artakhs* (ср. *art* ‘поле’) в армянском; эти выражения употреблялись в больших семьях, характеризовавшихся социальным единством в собственном смысле слова; семейная территория – славянский *двор* – противопоставлялась в них всему, что находилось снаружи, в особенности полям. – Такое слово, как латинское *sponsa* ‘обещанная’, приобретает значение ‘невеста’, а отсюда в некоторых романских языках ‘супруга’, так как латинский глагол *spondeo* ‘обещаю’ служил ритуальным термином и произносился отцом в качестве утвердительного ответа тому, кто просил руки его дочери. Изложенное выше подводит нас естественным образом к тому, чтобы сформулировать принцип каузации, составляющий главный предмет этого исследования: разделение людей, говорящих на одном языке, на разные группы; именно из-за разнородного состава [hétérogénéité] говорящих на одном языке и происходит большая часть изменений значения, в том числе, несомненно, и те, которые не объясняются описанными выше причинами.

III

Разделение людей на отдельные классы по значению слов уже многократно отмечалось авторами, писавшими о семантике. В частности, Бреаль выразил этот эффект с большой точностью: «По мере того как цивилизация становится разнообразнее и богаче, профессии, действия, интересы, из которых состоит жизнь общества, разделяются между различными группами людей; у священника, солдата, политика и земледельца не совпадают ни состояние духа, ни направление деятельности. Хотя они и унаследовали один и тот же язык, слова у них окрашены в различные оттенки, которые фиксируются и в конце концов закрепляются за ними... При слове *операция*, если оно произносится хирургом, нам представляются пациент, рана, инструменты для разрезания и сшивания; представьте, что говорит военный, и нам видятся войска на марше, если это финансист, то мы понимаем, что речь идет о перемещении капита-

²⁴ Видимо, во избежание этой ассоциации (примеч. пер.).

лов; в случае учителя арифметики – о сложении и вычитании²⁵. Каждая наука, каждое искусство, каждая профессия, создавая свою терминологию, оставляет свой след в словах общего языка» (Essai de sémantique. 3-е изд. С. 285 и далее; см. также главы: Polysémie. С. 143 и далее, и D'un cas particulier de polysémie. С. 151 и далее). Схожие наблюдения можно найти у Луи Дюво (Duvau L. Mémoires de la Société de linguistique. XIII. С. 234 и далее), у Рудольфа Мерингера (Monsieur Meringer. Indogermanische Forschungen. XVII), у Гуго Шухардта (Monsieur Schuchardt, в его работе о *trouver* (Sitzungsberichte Венской академии, phil. hist. cl. Vol. CXLI [1899]); также заслуживает внимания: Roques. Méthodes étymologiques // Journal des savants. 1905. August.

В своей публикации, посвященной Адольфу Муссафиа (Грац, 1905), г-н Шухардт пишет: «Хотя их источник (слов, означающих ‘быть должным’ [нем. *müssen*], в диалектном итальянском) не ясен, по-видимому, здесь проявляются социальные различия. Обязанности раба отличаются от обязанностей хозяина, и из уст раба столь же легко может звучать *mihi ministerium est* [‘мне велели’], как *mihi calet* [‘мне требуется’] – из уст хозяина».

Важнейшим фактом, таким образом, является то, что слово, имеющее расширенное значение в общем языке социума, может применяться к более точно определенным объектам в одной из более узких групп, существующих в пределах этого социума, и наоборот; как метко отмечает г-н Мерингер (Indogermanische Forschungen. XVIII. С. 232), «слово расширяет свое значение, когда переходит из узкого круга в круг более широкий; оно сужает его, когда переходит из более широкого круга в круг более узкий». Пример слова *операция* в достаточной мере определяет этот принцип, так что нет нужды иллюстрировать его дополнительно; тем более что этот факт подтверждается обыденным опытом. Каждая группа людей по-своему использует общие ресурсы языка.

Таким образом, значение слов уточняется не только в профессиональных группах; любая совокупность индивидов, связанная в пределах общества какими-либо особыми отношениями, обладает в силу этого особыми понятиями [*des notions spéciales*] и подчиняется правилам, характерным для той малой группы, которую она составляет, временно или на постоянной основе; значение же слова определяется совокупностью понятий, с которыми это слово связано, и различными ассоциациями, соответствующими, разумеется, той группе, в которой это слово употребляется. Словарь женщин отличается от словаря мужчин: слово *habiller* ‘одевать’ имеет во французском разное значение для женщин и для мужчин, так как оно отсылает к действию, характер и значение которого для них совершенно различны. В некоторых случаях женщины выражаются отлично от мужчин из соображений приличия: так, в одном из диалектов сербского женщины избегают употреблять используемое мужчинами название быка, *kurjak*, так как это слово также имеет значение ‘мужской половой орган’, и предпочитают использовать вместо него другие слова. Отчасти свою особую терминологию используют в казарме, в сообществе студентов, в спортивном обществе; и важно отметить, что одни и те же индивиды принадлежат, одновременно или поочередно, к нескольким релевантным группам, так что они подвергаются, одновременно или в разные периоды своей жизни, различным влияниям.

Людям одной профессии приходится обозначать большое число объектов и понятий, для которых в общем языке нет названий, так как они не занимают сообщество людей в целом. Многие такие названия образуются путем приписывания объектам названий других, более или менее схожих объектов; так, словом *chèvre*

²⁵ Бреаль мог бы добавить, среди прочих примеров, что на винных складах Берси словом *opération* обозначают смешение вин и что под «операционным вином» каждый там понимает вино, которое используется для смешивания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.